



П. Д. ПЕРВОВ

Философ в провинции

(из литературно-педагогических воспоминаний)

М. Пришвин продолжает еще печатать свое повествование об Алпатове, которое является чем-то вроде семейной хроники. Хроника эта открылась повестью «Курымушка»¹, где автор изображает свое детство. Критика отметила, что повесть эта дает обильный материал для иллюстрирования того, как дореволюционная средняя школа умственно и нравственно калечила своих питомцев.

Центральное место в судьбе «Курымушки» занимает «Козел». «Пришел в класс Козел; весь он был лицом ровно-розовый, с торчащими в разные стороны рыжими волосами; зубы совсем черные и далеко брызгаются слюной; нога всегда заложена за ногу, и кончик нижней ноги дрожит, под ней дрожит кафедра, под кафедрой дрожит половица. Курымушкина парта как раз приходилась на линии этой дрожащей половицы, и очень ему было неприятно всегда вместе с Козлом дрожать весь час». Отчего происходило это дрожание парты, половицы и ноги и какая трагическая коллизия из-за этого дрожания произошла в душе и судьбе этого Курымушки, автора повести «Курымушка», — все эти сложные детали читатель найдет в самой повести. А портрет «Козла», хорошо исполненный и выразительный, можно видеть в Третьяковской галерее. Под этим портретом подпись: «В. В. Розанов»².

«Страшной всех учитель математики “Коровья смерть”, говорили новичку Курымушке товарищи, тот, как первый раз если поставил единицу, так с единицей и пойдешь на весь год, и ты уже больше не ученик, а корова. “Коровья смерть”, рыхлый и серый лицом, вошел с костылем, сел на кафедру и ногу положил отдельно на стул: в ноге, сказали, у него подагра. Все вынули синие тетради и стали под его диктовку писать весь час

правила. “Это вызубри назубок”, советовали товарищи, “тебя завтра первого спросит. Смотри не подведи, а то с тебя рассердится и пойдет — много лишних коров наделает”. На другой день Курымушку первым вызвали. “Дай тетрадь! Что есть сложение? — Сложение есть действие... Запнулся. — Долго ли ты будешь молчать? — Коровья смерть, чуть-чуть покачивая головой сверху вниз, выражал такое презрение, такую ненависть, будто это не человек стоит перед ним, а сама его подагра вышла из ноги и вот такой оказалась, — в синем мундирчике, красная, потная, виноватая. — Мать есть? — Есть. — Несчастливая мать! — Надорвал синюю тетрадку до половины, сказал: “Стань в угол коровой!”»

Мы не станем следить за рассказом и только подтвердим, что в повести описана Елецкая гимназия, а Коровья смерть — В. В. Клушин, гроза кухаркиных детей, ярый черносотенец, «заслуженный» преподаватель, особенно ценимый гимназическим и окружным начальством.

Нарком Н. Семашко, учившийся в Елецкой гимназии восемь лет и окончивший ее в 1892 году, так характеризует эту гимназию: «Это была недавно открытая гимназия страшнейшего захолустья, куда преподавательский персонал ссылался как бы в наказание. За самыми редкими исключениями преподаватели представляли собою или допотопных зубров, или просто больных людей. Среди наиболее передовых идейных педагогов был известный черносотенец, новременский писатель, В. В. Розанов, преподававший географию, и довольно известный классик и историк, ныне здравствующий...» *

В эту характеристику, однако, следует внести некоторую поправку. Елец, крупный торговый центр, насчитывающий 60 тысяч жителей, вовсе не был захолустьем; нельзя сказать и того, что начальство ссылало туда учителей как бы в наказание. Совершенно наоборот: в глазах окружного начальства тогдашний состав преподавателей Елецкой гимназии был очень хорош; доказательством может служить тот факт, что начальство продвигало многих из этих учителей дальше по ступеням служебной лестницы; из учителей, у которых учился Н. А. Семашко, четверо были потом директорами гимназий (А. А. Кедринский, Г. Н. Фишер, И. И. Пенкин, Д. И. Мышцын, — двое последних были директорами орловских гимназий), один — инспектором московской гимназии и т. д.

* Ник. А. Семашко, «Полвека жизни — тридцать лет революционной борьбы», М., 1924.

В общем итоге гимназия носила обычный облик тогдашних среднеучебных заведений. Преподавание носило чисто «формальный характер», учителя были чиновниками, строго выполнявшими программы и циркуляры. Ученики заучивали учебники, «переводили» по подстрочникам, писали положенное число «сочинений», извлекаемых из специально для этой цели составленных пособий. Коровья смерть из года в год в каждом классе три раза в неделю диктовал «Записки» по арифметике и алгебре, а два раза в неделю «спрашивал» по этим «запискам». По смерти инспектора С. П. Федюшина («Обезьян» у Пришвина) в актовом зале оказался большой шкаф, битком набитый непрочитанными сочинениями, которых за десять лет накопилось многие сотни; «Обезьян» никогда не возвращал ученикам сочинения. Учителям древних языков помощник попечителя В. Д. Исаенков периодически рассылал брошюру, в которой было пропечатано, какие параграфы из грамматики Никифорова, какие примечания и сколько строк из такого-то примечания проходить в таком-то классе. Окружные инспектора, появлявшиеся в гимназии раз в три года, входя в класс, прежде всего осматривали у всех учеников тетради со словами и «спрашивали» эти слова. В обычное учебное время «за слова» ежедневно отсиживали под арестом десятки учеников; классные наставники поочередно дежурили при этих арестованных, отпуская их по мере того, как они выучивали слова. Через полчаса после окончания уроков из своей квартиры приходил к арестованным в классе директор Н. А. Закс («справедливый латыш» у Пришвина), брал у учеников поочередно тетрадки, спрашивал слова, некоторых отпускал и потом выходил из класса, не обращая никакого внимания на восседавшего на кафедре очередного классного наставника и не простившись с ним. Другой директор, сменивший Н. А. Закса, П. Ф. Симсон, собиратель русских древностей, очень заботился о том, чтобы у него по средам и пятницам не было никаких дел в гимназии и в канцелярии: в эти дни он обходил «бабий» базар и тщательно осматривал всевозможный хлам у торговок, рассчитывая найти русские древности, как это ему иногда удавалось в Серпухове и Нижнем, где он раньше служил. На уроках у преподавателей директора бывали раза по два в год. Учителя ежедневно ставили баллы. Из ежедневных баллов учитель выводил четвертной балл, который заносился в ведомость классного наставника, и здесь кончалась вся активность всего преподавательского персонала: вся дальнейшая судьба ученика строго и неукоснительно predeterminedлялась циркулярами. В циркулярах было точно обозначено, из каких четвертных можно выводить какой годовой балл, с каким годовым допускать к экзамену, как выводить «средний» из

годового и экзаменационного и т. д. Во всей этой махинации нельзя было прибавить, к выгоде ученика, ни одной четверти балла, и сам ученик при производстве этой махинации активно фигурировал один только раз за весь учебный год, — при экзаменах, но и тут судьба ученика часто была уже predetermined.

Округ судил об учителях по письменным работам на аттестат зрелости, которые отправлялись в округ и там передавались на разбор специалистам. К концу учебного года в каждую гимназию посылалась объемистая книга страниц в 500, изданная «на правах рукописи», т. е. не подлежащая оглашению. В этой книге учителя находили полные перечни всех ошибок всех абитуриентов (оканчивающих гимназический курс) округа. Просмотр работ по древним языкам делался самим В. Д. Исаенковым, который и выписывал все ошибки, распределял их по самым замысловатым рубрикам: орфографические, этимологические, синтаксические, стилистические, семантические, описки, пропуски и т. д. и в каждой рубрике грубые, средние, легкие. Учителя по целым неделям занимались исправлением и распределением ошибок перед отправлением работ в округ, из отчета узнавали о своих собственных промахах в исправлении и классификации ошибок. Рецензия обычно оканчивалась исправлением поставленных учителями баллов: «поставлено 3, следовало 2» и т. д. На судьбу абитуриентов эти исправления уже не влияли, но в среду учителей они вносили немалый конфуз. Учителя, мечтавшие продвинуться по ступеням служебной лестницы, особенно много тратили времени на исправление этих работ. Кедринский и Фишер после всеобщего разъезда на каникулы оставались в городе еще недели на две, употребляя все это время на справки по книгам и дальнейшее исправление.

Другим поприщем для того, чтобы выслужиться перед начальством, было «посещение» ученических квартир. Инструкция классным наставникам предписывала следить, «какие лица бывают в квартире ученика, с кем он входит в сношение, какие книги читает в свободное от занятий время», и т. д. О посещениях подавались рапорты директору. Г. И. Фишер «посещал» квартиры даже после двенадцати часов ночи или дважды в один вечер в надежде, что после первого посещения ученики, ничего больше не опасаясь, пустятся во «все тяжкие» и будут изловлены. Он искал у учеников книги под тюфяками, за шкапами, под кроватями и т. д., часто приносил с своих посещений добычу в учительскую и по очереди переспрашивал преподавателей, показывая им книгу, дозволенная она или недозволенная; сам он кроме грамматики Буслаева, которую изучал каждые канику-

лы, не прочел ни одной русской книги. Если автор выловленной книги значился в каталоге гимназической ученической библиотеки, он сверял, то ли это издание, которое дозволено. Отобранные книги хранились в учительской в шкапу с другими отобранными предметами и выдавались владельцам обратно по окончании ими курса. Однажды шкап оказался сразу наполненным доверху книгами: одному ученику, изучавшему переплетное ремесло, вздумалось купить на толкучке кучу старых журналов за несколько лет; он вырывал статьи и переплетал их в особые книжки, но вовремя был «изловлен», и книги все попали в казенный шкап.

Гимназические учителя жили замкнутой группой. Классные наставники вызывали в гимназию родителей для переговоров об успеваемости их детей; три-четыре лица из чиновничьего мира в Новый год и на Пасху обязательно делали визиты всем учителям гимназии с целью приобрести их благоволение для своих мало успевающих детей. Но никто из чиновничьего и купеческого мира не был знаком «домами» с гимназическими учителями. Только один Кедринский лез в аристократию, приглашая на именины соборного протопопа и некоторых помещиков, причем эти почетные гости сидели у него за особым столом, отдельно от учителей. Учителя постоянно ходили друг к другу в гости. В течение года длинной вереницей праздновались именины, дни рождения самих учителей, жен их и домочадцев. С раннего вечера и почти до утра сидели за картами; на другой день во все перемены между уроками горячо обсуждались карточные инциденты.

Кроме карьеристов и «зубров» среди учителей были и просто больные люди. Чистописанию и рисованию обучал Постников; от пьянства у него тряслись руки, и он многие годы преподавал эти искусства «словесно», не написавши в классе ни одного слова и не сделавши ни одного рисунка; он «писал» только одно слово и только 20-го числа каждого месяца, когда при получении жалованья нужно было подписать на ведомости свою фамилию; для этого он свою прыгающую руку крепко придерживал другой рукой.

До В. В. Розанова учителем истории и географии был И. И. Тарановский. К девяти часам он приходил в гимназию; ни с кем не здороваясь, садился в учительской у окна на стул, вынимал из кармана книгу и упорно смотрел в нее. По звонку он быстро шел в класс. Все ученики и учителя на местах, по классам; в коридоре минут пять мертвая тишина. Но вдруг за одной из классных дверей раздается пронзительный крик. Это Тарановский при-

ступил к «опрашиванию». Крики усиливались. Переходили в визг и вопль. В соседних классах становилось жутко; исчезала всякая возможность направлять внимание учеников. Неистовое оранье продолжалось с небольшими перерывами до конца урока. По окончании урока Тарановский, весь красный и потный, выбегал из класса, бежал к своему стулу и снова погружался в книгу. По звонку он снова срывался с места, снова бежал в класс и минуты через три по всему коридору снова неслись пронзительные крики. После двух-трех уроков, опускаясь на свой стул, он был уже бледен, как мертвец, и что-то шептал про себя губами, не отрываясь от книги. Книга целые месяцы была открыта на одной и той же странице: Тарановский не читал, а только смотрел в нее. В гимназии он ни с кем из коллег не разговаривал. Иногда директор отсылал его дня на два на квартиру «полежать».

Но на квартиру к нему неизменно приходил Л. Р. Моррисон, учитель французского языка, горький пьяница, занимавший по всему городу деньги у родителей учеников; начиналась попойка, затевалась на целую ночь картежная игра. Когда учителя говорили директору, что Тарановский слишком нервнрует учеников, директор пояснял, что по закону учителя не могут бросать занятия среди учебного года. Так продолжалось с ноября до конца учебного года. На последнем экзамене, когда в четвертом классе экзаменовали по географии «за все четыре класса», Тарановский спрашивал: «Какой губернский город во Владимирской губернии? какой в Казанской? Какой народ живет во Франции? какой в Швейцарии» и т. д. Некоторые ученики искали какого-нибудь «подвоха» в этих вопросах и отвечали невпопад; Тарановский начинал неистово орать, ассистенты спешили отпустить ученика. Ученик Самохвалов, обучавшийся четыре года географии, не умел на карте отличить сушу от океана, и на предложение указать какое-нибудь государство неопределенно махал рукою в воздухе. Стали выводить отметки за ответы. Оказалось, что Тарановский наставил кучу единиц и двоек, кое-как удалось убедить его поставить всем без разбора по тройке.

В следующем году, по уходе Тарановского, до конца сентября в Елецкой гимназии не было учителя истории и географии. Наконец в гимназию явился переведенный из Брянска учитель В. В. Розанов. Он был одиноким, поселился у одной старой вдовы. Новый учитель никому не сделал визитов, в учительской больше молчал, наблюдал и подсмеивался; на учительские вечеринки не ходил. Прошло два месяца. Инспектор И. И. Пенкин,

сменивший умершего «Обезьяна» и тоже переехавший из Брянска, втихомолку сообщил некоторым из учителей, что Розанов написал в Брянске целую книгу и даже напечатал ее на свой счет, на свое учительское жалованье. Это известие всех заинтриговало: стали расспрашивать Пенкина. Но оказалось, что он не читал самой книги, что это какая-то философия и что книга называется «О понимании»³. Все это ставило слушателей в тупик. Чудак человек! Ухлопал все свое годовое жалованье на печатание книги! На какие-то деньги жил он в тот год, как печатал книгу? и как можно сочинить целую книгу о понимании? Что такое это «понимание»? Пенкину не особенно верили, а самого автора загадочной книги не решались расспрашивать. Наконец, Пенкин оповестил, что приглашает Розанова на свое семейное торжество с тем, чтобы среди беседы порасспросить его подробнее о книге. Это было торжество по случаю годовщины со дня рождения дочери Пенкина. Пенкин, бывший потом директором Орловской гимназии, ярый черносотенец и карьерист, свято соблюдал разные старозаветные обычаи и, между прочим, обычай, строго запрещавший отцу брать на руки своего ребенка в первый год его жизни. На торжестве отец должен был впервые взять свою дочь на руки. За столом сидели почти все учителя с женами; на столе красовался необъятной величины осетр; жена Пенкина поднесла разодетого в кружева младенца; все поздравляли, произносили тосты, чокались. После официальной части торжества завязали беседу с новым учителем о жизни в Брянске и его книге. Автор подробно рассказал, где печаталась книга, сообщил, что в ней около 600 страниц. И всю эту таинственную премудрость о понимании сочинил один человек, сидевший между ними, бывший учитель брянской прогимназии. Скоро учителя увидели и саму книгу, на обложке которой значилось: «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания».

Прошло несколько недель. У автора расспрашивали в учительской, сколько экземпляров книг напечатано, сколько продано, куда он послал ее для продажи; автор отделивался шутками*. Высчитывали, что если книга продается по 5 рублей, то, вероятно, самому автору печатание ее обошлось тысячи в две. Откуда он взял такую уйму денег? От Пенкина узнали, что Розанов — сын бедной вдовы-мещанки, которая содержала семью стиркой

* В первые два года, до появления первых рецензий, как говорил потом Розанов, ни в Ельце, ни в Москве не было продано ни одного экземпляра.

белья, что в годы студенчества он жил уроками, женился на своей квартирной хозяйке⁴, что жена его приходилась сестрой одной из трех знаменитых женщин, которые, получив заграничное образование, были первыми в России женщинами-врачами⁵, что Розанов в первый же год разошелся с женой⁶. О самом содержании книги с автором никто не заводил речи; но в отсутствие Розанова в учительской и на учительских вечеринках росло и плодилось всякого рода злословие. И в особенное недоумение приводило учителей то обстоятельство, что в книге не было цитат и ссылок на философическую литературу. Кое-кто пробовал читать книгу, но у читателей хватало терпения только на бесполезное перелистывание толстой книги. Толковали, что автор, должно быть, списал эти сотни страниц из каких-нибудь книг, но не знали — из каких. Исподтишка разведывали у него, не знает ли он иностранных языков, в предположении, что, может быть, он «стащил» эти сотни страниц у какого-нибудь иностранного философа. Но оказалось, что Розанов знает языки лишь настолько, насколько знали гимназисты старших классов. Никто не мог решить, что у автора в книге свое и что чужое; но все были уверены, что в ней больше всего чужого. Автор по-прежнему по вечерам сидел у себя дома, сторонился учительской компании; в беседах отделялся шутками и афоризмами. Учителя почти единодушно решили: «Это не нашего поля ягода». Нарастала постепенно злоба. Автора в насмешку стали звать «философом» и «понимающим». Классик-картежник М. В. Десницкий в учительской то и дело насмешливо провозглашал по адресу Розанова: «Нашелся понимающий среди ничего не понимающих». Всяческое заочное злословие не прекращалось и тогда, когда Розанов стал наконец бывать у некоторых учителей на именинах и вечеринках. Раз он попал даже на холостую попойку у учителя женской гимназии Желудкова. Здесь слово за слово разгорелся спор между Розановым и Десницким, который «на все корки» честил философию и философов, крича с азартом: «И мы тоже кое-что понимаем!» В разгаре спора Десницкий схватил с полки книгу «О понимании», преподнесенную Розановым Желудкову, расстегнул брюки и обмочил ее при общем хохоте всех присутствующих: «А ваше понимание, Василий Васильевич, вот чего стоит».

Ученикам, попавшим к Розанову после Тарановского, очень нравился новый учитель, который хорошо «рассказывал» на уроках, постоянно отступая от темы урока и пускаясь в другие эпохи истории или в иные области знания, совершенно неведомые ученикам. Говорил он просто и с учениками обращался по-се-

мейному. Ученики разносили по городу слух об очень ученом учителе; ученицы женской гимназии завидовали им, что у них такой ученый историк, меж тем как их собственный историк А. К. Сапегин только и умел рассказывать не совсем приличные анекдоты о Екатерине и Елизавете и одаривать классных дам своими произведениями живописи.

Когда я стал потом ходить к Розанову, он занимал в это время одну комнату какой-то вдовы, которая готовила ему обед. За ширмами была кровать; перед ширмами и по стенам возвышались сооружения из книжных полок. Полки сверху донизу были набиты книгами всевозможных форматов в старинных кожаных переплетах, с раскрашенными или золочеными обрезами, потускневшим золотым тиснением на корешках. Тут были огромные пергаментные фолианты Энциклопедии Дидро, Словаря Бейля, многотомные французские издания Вольтера, Руссо и множество других писателей и философов XVIII века, «первые» издания русских классиков, множество антикварных раритетов на латинском и новых языках, и т. д.; на отдельной полочке лежали растрепанные, без переплетов, «сочинения» немногочисленных русских философов из духовных семинаров и академий. Я по целым часам зарывался в эту сокровищницу мыслей и знаний; просмотренные книги и прочитанные страницы давали повод к бесконечным беседам и спорам. Эти споры обострялись гибким и пронизательным умом, яркими симпатиями или антипатиями Розанова к людям и мнениям.

Однажды на полках у Розанова я отыскал брошюру Ренана «De la part», etc. Я перевел брошюру и послал перевод в Москву к издателю В. Н. Маракуеву, который и напечатал его (Место семитских народов в истории цивилизации. М., 1898). Розанов, чтобы дать отповедь Ренану и дополнить его, выбрал для актовой речи в гимназии тему «Место христианства в истории цивилизации». Речь эта была издана потом отдельной книжкой⁷; издание быстро разошлось; это было первым и очень удачным выступлением Розанова перед большой публикой. Сопоставление семитского мирозерцания с христианским было вместе с тем первым толчком к дальнейшему детальному изучению этого вопроса, бывшего основным стержнем философских работ Розанова.

Среди споров и рассуждений о планах будущего у нас явилась мысль начать серьезный труд по философии. Предстояло прежде всего пересаживать на нашу почву крупнейшие достижения великих философов человечества. Завершителем античной философии и родоначальником средневековой философии, филосо-

фом, имевшим наиболее продолжительное влияние на человеческую мысль, был Аристотель. Важнейшим его сочинением была «Метафизика». На ней мы и остановились.

При тогдашних условиях Елецкой учительской жизни это была труднейшая задача, которую только можно было придумать в области философской литературы. Сама по себе «Метафизика» является вершиной отвлеченной философской мысли, представляя непомерные трудности для толкования и точной передачи. К тому же у нас не было никаких специальных пособий. В гимназической фундаментальной библиотеке в качестве наследия от каких-то прежних «училищ» хранились такие редкости, как невероятный по объему «*Tesaurus totius latinitalis*» («Сокровище всей латыни»), между прочим, фолианты греческого текста Аристотеля в стереотипном, без всяких комментариев, издании Дидо⁸. На помощь себе мы решили выписать от Готье из Москвы французский перевод «Метафизики», сделанный Бартеlemi Сент-Илером⁹. Готье прислал три тома. Но эта книга оказалась совершенно непригодной для нашей цели. Это был не перевод, а какая-то развязная и совершенно невразумительная французская болтовня, ничего общего не имеющая с греческим текстом. Сент-Илера мы запрятали на дальнюю полку, чтобы он не портил нашего дела, и ни разу не обращались к нему. Перечитавши все семинарские «обзоры философских учений» и вообще все, что было в русских философских книгах об Аристотеле, мы увидели, что и тут нельзя совершенно ничем воспользоваться, и прежде всего вследствие невообразимой путаницы в философской терминологии: аристотелевские философские термины переводились десятками различных способов, разные философские термины передавались одним и тем же способом, вносилась масса терминов из новой философии; обзоры пестрели словами: сущее, сущность, бытие, субстрат, форма и т. д., но в общем итоге вследствие произвольной и противоречивой терминологии получилась полная неразбериха, так что в кратких обзорах ничего не было общего с подлинным содержанием «Метафизики». Приходилось все начать *ab ovo**, игнорируя все написанное об аристотелевской философии в русских книгах и руководствуясь только греческим текстом и собственным размышлением. Розанов знал греческий язык не лучше гимназиста старших классов со средними успехами; не надеясь на свои филологические познания, он, в сущности, и не смотрел в греческий текст, но он был глубоким и пронизательным

* с самого начала, буквально — от яйца (*лат.*).

толкователем подлинника, который я ему преподносил в дословном переводе. Отдельные слова, термины, обороты, фразы обсуждались целыми вечерами. Работа требовала исключительного проникновения в тонкости наивысшей отвлеченной мысли и очень большой изобретательности для передачи всех оттенков мысли в точном соответствии с подлинником. Мы работали изо дня в день целый год, кроме каникул. Это было какое-то непрерывное философское вдохновение. Работа на высотах мышления настолько захватывала, что вся текущая проза жизни представлялась каким-то ненужным сном. И это было лучшее время жизни.

Когда переведены были уже три книги «Метафизики», мы из простого любопытства, без всякой серьезной цели, зашли в типографию Кочергина. Это была единственная в городе типография, печатавшая почти исключительно бандероли для огромной фабрики Заусайлова, выпускавшей забандероленную махорку. Мы спросили у хозяина, печатает ли типография книги. — Печатаем счета, поминанья, — сказал хозяин, — но можно и книгу, ступайте к метранпажу; он все вам скажет. Мы целый час беседовали с метранпажем, считали на какой-то примерной книге число букв на странице, долго складывали, умножали, считали рубли и копейки. Видно было, что для метранпажа все эти подсчеты — дело совершенно новое, что типографии никогда не приходилось выполнять заказы на книги. Метранпаж был очень услужлив и общителен. Когда мы, завернувши в бумагу свою рукопись, собирались уходить, он задержал нас и самым конфиденциальным тоном, как бы по секрету от хозяина сообщил нам: «Вы, я вижу, хорошие господа, и мне не хотелось бы вводить вас в убыток. Мой совет: вместо того, чтобы печатать, вам гораздо выгоднее купить в готовом виде эту книгу, в Москве она, вероятно, стоит не дороже трех рублей».

Русских философских журналов в то время не было; в «Трудах» духовных академий печатались только религиозно-философские статьи. Единственным прибежищем для таких работ, как наша, был «Журнал министерства народного просвещения», имевший у себя особый «отдел классической филологии».

В «Журнал министерства» мы и послали свой перевод, там с охотой его приняли и оплачивали работу не как перевод, а как оригинальные статьи; перевод сопровождается непрерывным философским комментарием, занимающим больше места, чем самый перевод. После печатания первых книг «Метафизики» мы продолжали в Ельце эту работу, и перевод печатался в «Журнале министерства» с перерывами в течение четыре лет (1890 г.,

февр., март; 1891 г., янв.; 1893 г., июль, авг., сент.; 1895 г., янв., февр.)*.

Розанов тяготился учительской службой и был неважным педагогом. «С ним все от счастья», — говорили о Козле товарищи Курымушки. «Козел обвел своими зелеными глазами класс пронзительно. И как раз встретился с глазами Курымушки, так у него всегда выходило, — встретится глазами, и тут же непременно вызовет. Ни имен, ни фамилий он не помнил».

Вспоминаются несколько случаев. Розанов очень полюбил одного бедного воспитанника, Вавилова: всячески ему мирволил, доставал уроки, хлопотал о нем в «Обществе вспомоществования бедным ученикам» и т. д. Раз Вавилов читал на гимназическом вечере отрывок из «Бориса Годунова»: «Еще одно последнее сказанье». С этого вечера Розанов называл Вавилова не иначе как «ломакой» и потом до конца курса всячески преследовал его и высмеивал. В том же восьмом классе был другой ломака, сын местного прокурора, Шидловский, растягивавший слова и корчивший из себя аристократа и зазнайку. Когда восьмиклассники, державшие на аттестат зрелости, написали сочинение на присланную из округа тему, то Розанов выпросил для исправления работы Шидловского у учителя М. А. Смирнова, который в качестве преподавателя класса по правилам обязан был первым, раньше всех ассистентов, прочитывать и исправлять работу. Когда после Розанова работа Шидловского попала ко мне как второму ассистенту, я увидел, что она вся исчеркана Розановым, который нашел в ней и «исправил» около ста «ошибок», главным образом в стилистике: больше половины текста работы было подчеркнуто красными чернилами, а поля сплошь исписаны пометками: «неясно», «не по-русски», «неверно» и т. п. При рассмотрении работы я убедился, что все до одной поправки Розанова были неверными или вздорными и вызваны были состоянием крайнего раздражения. Я пометил все поправки номерами и к каждому номеру написал обстоятельное и мотивированное опровержение, написавши красными чернилами целых

* Приведу одну мелочь, характеризующую Розанова в житейских сношениях. На страницах журнала переводчики везде названы в таком порядке: «П. Первов, В. Розанов»; но в одной из журнальных книжек имена переводчиков стоят в обратном порядке: «В. Розанов, П. Первов»¹⁰. Казус этот объясняется тем, что Розанов тайком от меня написал редактору какое-то письмо, в котором какими-то доводами убедил его в своем первенстве над другим переводчиком. Когда результат переписки обнаружился, Розанову стало стыдно, и он в письме просил редактора восстановить тот порядок имен, который был в рукописи.

две страницы на ученической работе. Работа перешла потом к Смирнову, который оказался в большом затруднении, не зная, как выпутаться из этой кутерьмы; он что-то еще писал на работе и просил меня пересмотреть все рецензии; я отказался от этого и не видал уже работы, которая со всеми этими контроверзами пошла в округ; Розанов оценил работу двойкой с минусом, я поставил четверку.

Розанову очень хотелось выбраться из Ельца. Он постоянно мечтал о такой службе, которая давала бы ему досуг для литературно-философских занятий; наиболее заманчивой службой ему представлялось заведывание каким-нибудь музеем.

В последний год его пребывания в Ельце мы на святки поехали в Москву. Остановились в «Скворцах», на углу Моховой и Воздвиженки. В номер пришли однокурсники Розанова, «оставленные при университете», в числе их Любавский (бывший потом ректором университета)¹¹. Розанов перессорился с ними, так как он недолго любил патентованных ученых. На другой день Розанов пошел с визитом к профессору Н. Я. Гроту¹², которому он за год до этого визита послал свою книгу «О понимании», в надежде, что известный профессор философии старейшего русского университета заинтересуется большой философской работой, исполненной в глухой провинции. Грот в замешательстве извинялся, что не успел еще прочитать этой книги. Два-три профессора провинциальных университетов, получившие от Розанова книгу, тоже в течение двух лет не успели о ней отозваться. Первым отозвался петербургский писатель-философ Н. Страхов¹³. Книгу «О понимании» он препроводил критику Буренину. Последний очень заинтересовался несколькими страницами из этой книги, в которых говорилось о Гоголе и Достоевском. Он напечатал в «Новом времени» фельетон¹⁴, в котором оповестил о совершенно новом взгляде на Гоголя, появившимся в такой-то загадочной книге. С этих пор и в большой прессе узнали о Розанове. Мысли о Достоевском потом были развернуты Розановым в особой книге: «Легенда о великом инквизиторе»; в эту книгу вошли и его статьи о Гоголе.

Тот же Страхов выхлопотал для Розанова место в Петербурге, обратившись с этой целью к государственному контролеру Тертию Ивановичу Филиппову, писателю-славянофилу и меценату, которого не только по фамилии, но и по имени-отчеству знала вся тогдашняя интеллигенция. Третий Филиппов вызвал Розанова в Петербург и дал ему место в какой-то канцелярии при контроле.

В последний год пребывания в Ельце Розанов жил уже на другой квартире, у старухи-попадья, родственницы какого-то

известного архиепископа¹⁵. У вдовы была взрослая дочь Варвара. С этой Варварой, о которой он потом столько раз и обстоятельно писал в своих сочинениях, он и уехал в Петербург. В Петербурге, пока он не стал постоянным фельетонистом «Нового времени», ему жилось очень плохо. Место, предоставленное Филипповым, оказалось очень мизерным. Сбежавши от учительства, он попал на такую должность, где целый день приходилось корпеть над бумагами и цифрами.

Многочисленные книги и сборники фельетонов Розанова до революции охотно читались; о нем написаны десятки статей и даже целые книги. Он раза два оповещал читающей публике, что заработал своими сочинениями 50 тысяч рублей. Последние годы он жил в Сергиевом Посаде, больной и обремененный семьей, получая от какого-то благодетеля небольшие крохи на издание периодического листка, который назывался «Апокалипсис нашего времени» и прекратился на третьем выпуске¹⁶. Умер Розанов от голодания.

